



Павел Бажов

Отслоения дней

ФТМ



Павел Бажов

Отслоения дней

«ФТМ»

Бажов П. П.

Отслоения дней / П. П. Бажов — «ФТМ»,

«Думаю, что вы уже достаточно осведомлены об эпистолярности изучаемого вами объекта, поэтому не очень удивляетесь продолжительному молчанию. Во всяком случае срок оказался достаточный. Настала пора отвечать, но тут опять у вашего объекта начинает выступать субъективное мнение по существу работы. Вот первые два вопроса: о бабушке и маме. Мне здесь почудилось что-то не так, какое-то направление в генеалогию, когда внимание должно быть направлено на социальную среду, независимо от родственных отношений. Может быть, я бестолково об этом говорю? Постараюсь это же разъяснить более длительным путем...»

Содержание

Письмо к Л. И. Скорино	5
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Павел Бажов

Отслоения дней

Дневниковые записи, письма¹

Письмо к Л. И. Скорино

20 сентября 1941 г.²

Думаю, что вы уже достаточно осведомлены об эпистолярности изучаемого вами объекта, поэтому не очень удивляетесь продолжительному молчанию. Во всяком случае срок оказался достаточный. Настала пора отвечать, но тут опять у вашего объекта начинает выступать субъективное мнение по существу работы.

Вот первые два вопроса: о бабушке и маме. Мне здесь почудилось что-то не так, какое-то направление в генеалогию, когда внимание должно быть направлено на социальную среду, независимо от родственных отношений. Может быть, я бестолково об этом говорю? Постараюсь это же разъяснить более длительным путем.

О разговорах бабушки мной довольно подробно давалось в очерке «У старого рудника» и в повестушке «Зеленая кобылка». Вероятно, дважды или даже трижды, сколько я могу припомнить дополнительно, но ведь у меня, во-первых, нет уверенности, что все это именно слышал от нее – от Авдотьи Петровны, а не от бабки или деда своего товарища, и, во-вторых, нельзя забывать, что общая сумма слышанного вне семьи во много раз превышает то, что слышал в семье.

И это, поверьте, очень существенно. Пушкинская Арина Родионовна, Гриневский Савельич, Иохим Петруся и т. д. представляются и, действительно, могли быть единственными конденсаторами влияний трудовой группы на изолированного от нее ребенка. Совсем иное получается, когда ребенок растет среди этой именно группы. Здесь он видит представителей группы на каждом шагу и даже при самой острой памяти едва ли в состоянии отделить документально одно лицо от другого. Словом, горьковская бабушка, по-моему, гораздо более собирательна, чем пушкинская няня.

О своей бабушке храню благодарную память, как о ласковом, немало повидавшем на своем веку трудностей и словоохотливом человеке, честно отработавшем свой срок. Но таких было немало и в ближайших избах. Поэтому выделять, что то или другое слышал от своей бабушки, считаю невозможным. Да это и повело бы, как уже говорилось выше, вовсе не в ту сторону, куда надо.

Единственно, что могу утверждать, – это первые детские сведения о Медной горе могли быть получены только от бабушки и отца, так как других лиц, знавших об этом, в ближайшем моем окружении не было. Но это уже сказано, и поэтому вопрос снимается.

Отсюда вывод, вроде совета. Надо налегать не на бабушку, а на весь рабочий уклад того времени и особенно на тот «институт заводских стариков», о котором, помните, пытался рассказать на Молотовской конференции. Для примера укажу на летние беседы «на завалинках» в праздничные дни или даже на такие обычаи, как супрядки, капустники и т. д., где обычно «вертелись» и мальчуганы годов до семи-восьми. Там они, как губка, впитывали, «о чем ста-

² 20 сентября 1944 г. – Письмо адресовано критику Л. И. Скорино. является ответом на ряд вопросов, поставленных в связи с работой над монографией о творчестве П. П. Бажова. В письме упоминается межобластная уральская научная конференция – «Настоящее и прошлое Урала в художественной литературе», которая состоялась в июне 1943 года в г. Молотове. Здесь были представлены писатели и литературоведы Свердловска, Молотова, Челябинска, а также Ленинграда и Москвы. На конференции была выпущена однодневная газета – «Литературный Урал» (12 июня 1943 г.).

рухи судачат», «о чем старики сказывают». Конечно, тут было немало и плохого, но преобладание положительного неоспоримо. В этом суть вопроса, почему мой старый быт не походит на подъячевский. Ведь если в прошлом, от «Растеряевой улицы» до чеховских «Мужиков», по понятным причинам внимание фиксировалось на теневых сторонах, то задача нашего поколения, имевшего возможность видеть старое, осветить то, из чего росла любовь к родине и мощь нашего государства.

Вопрос о влиянии матери (почему не отца?), мне кажется, должен отпасть по тем же причинам. Для каждого из нас, конечно, своя мама «лучше всех», но отсюда нельзя делать выводов о преобладании этого неизбежно идеализированного образа над другими. И вообще разыскать истоки образов в моих вещах нельзя просто потому, что написано крайне мало. Говорить с этими данными было бы так же смело, как, скажем, об уральском песенном фольклоре по десятку прослушанных образцов. Это будут лишь догадки, которые легко могут быть совершенно опровергнуты десятком других образцов, а те в свою очередь окажутся несостоятельными перед следующим десятком. Вообще «с органической аналитикой» лучше повременить: вдруг я еще что-нибудь напишу в мемуарном порядке. Старики к этому склонны. Хлебом их не корми, дай поговорить о том времени, когда и они детьми были. Любят!

Когда и что впервые прочел у Лескова, точно не помню. Надо при этом напомнить, что в свои юношеские годы относился к этому писателю отрицательно, не зная его. Понаслышке он был известен мне, как автор реакционных романов, поэтому, видимо, я и не тянулся к произведениям Лескова. Полностью прочитал уже в зрелом возрасте, когда появилось издание А. Ф. Маркса (кажется в 1903 году). Тогда же прочитал и реакционные романы («На ножах» и «Некуда») и был буквально поражен убожеством художественной и словесной ткани этих вещей. Просто не верилось, что они принадлежат автору таких произведений, как «Соборяне», «Несмертельный Голован», «Очарованный странник», «Тупейный художник» и других, блещущих выдумкой и словесной игрой, при их жизненной правдивости. Занятым показалось совершенно новое чтение Лесковым старопечатных источников: прологов, Четий-Миней, цветников.

«Огорчительный плакон», «краеграние», и т. д. кажется мне большим словесным переигрыванием, пороч сближает Лескова с Горбуновым, который на потеху публики нарочито преувеличивал речевые и фонетические неправильности и выискивал *rarities personnelles*,³ чтоб по смешнее.

Говоря откровенно (Attention! Attention!⁴), Мельников мне казался всегда ближе. Простая близкая натура, ситуация и тщательно отобранный язык без перехлестывания в словесную игру. Читать этого автора стал еще в те годы, когда смысл слов «ох, искушение!» мне был не вполне понятен. Перечитывал и потом. И если надо обязательно искать, от кого что прилипло, то не следует ли поглядеть через это окошко. А главное, конечно, Чехов. Здесь отчетливо помню, что и когда впервые прочитал. Помню даже место, где это происходило.

Пришлось это на 1894 год. Ваши уважаемые собраты прошлого – литературоведы и критики – к этому времени уже полностью «признали и оценили» Чехова и даже общими усилиями дотолкали его до «Мужиков» и других произведений этой группы. Но в провинциальных книжных магазинах (жил я тогда в Перми) был еще только молодой Чехов «Сказок Мельпомены» и «Пестрых рассказов».

Стояла осенняя слякоть начала ноября, да еще приходилось «справлять кончину в бозе почившего» Александра III. На горе пермским бурсакам архиерей того времени считал себя композитором. По случаю «кончины» он положил на музыку какой-то стихотворный скулеж пермского гимназиста. Бурсацкое начальство укоризненно вздыхало по адресу своих питом-

³ Своеобразные словечки (франц.)

⁴ Внимание! внимание! (франц.)

цев: вот, дескать, гимназист скорбит даже в стихах, а вы как себя показываете. И желая подравняться, усиленно налегали на распевание этого скулежа архиерейской композиции.

В такие сугубо кислые дни впервые купил книжечку Чехова. Стоимость ее я забыл, но она казалась для моего тогдашнего репетиторского заработка (шесть рублей в месяц) чувствительной. Помню, еще мешали выбору книжка Лугового «Police verso» и Мамина-Сибиряка «Черты из жизни Пепко», стоявшие рядом с книжкой Чехова. Перетянул все-таки неизвестный мне тогда Антон Павлович Чехов.

Семинарское начальство свирепо относилось ко всей литературе без «допустительной отметки». Так называлась последняя ступенька разрешительной визы (одобрено, рекомендовано, разрешено, дозволено, допущено для библиотек).

На книжечке Чехова никакой такой визы не было, и надо было читать эту книжку, когда «недреманное око отупеет». Лучше всего это удавалось между ужином и сном, от девяти до одиннадцати. Эти часы предоставлялись усмотрению бурсаков. Кто хотел, мог сразу уходить в спальню, остальные могли читать «библиотечное», «играть в дозволенные игры» (шашки, шахматы), а обычно дулись в карты, могли играть на скрипке, тренькать на балалайках, бреньчать на гитаре. Могли штопать штаны, подбивать подметки и даже танцевать, но уже не по классам, а в зале. Там как раз была подходящая обстановка. Потолок с божьим глазом в центре был разделан под звездное небо, окаймленное широкой полосой, по которой славянской вязью было выписано: «Призри с небес, боже, я виждь и посети виноград сей, его же насади десница твоя». А виноград под этой символической надписью отхватывал трепака, откалывал козелка, рассыпал чечетку, либо «приобретал навыки в благородных танцах». По лестничным клеткам боковых ходов, курилкам и уборным производился среди старшеклассников «отбор голосов». Там же имелся удобный измерительный прибор – высоко подвешенная лампа, которую надо было загасить звуковой волной. С обязательством, однако, самому же зажечь – иначе трепка. И это соблюдалось по всей строгости неписанных законов бурсы.

В те дни не было ни этого «упражненского ору», ни танцев. Все бурсаки – «клирошане» (певшие в хорах) сгонялись в актовый зал, где усердствовавший учитель пения, он же регент архиерейского хора, проводил спевки, отыскивая все новые красоты в скорбной архиерейской гимназической стряпне. Клирошане, разумеется, по такому случаю все смертельно хотели спать, зевали, даже шатались от усталости, но уйти в спальни было невозможно: недреманное око в виде инспектора и двух его помощников стояло во всех трех дверях зала. При таком положении естественно, что по классам народу было немного (только «непоющие», особый разряд, в который, кстати, не легко было попасть). Зато была полная свобода действий, так как все знали, что никто из инспекции не отойдет от дверей зала, пока не кончится завывание по коронованному покойнику.

Назывались эти часы свободными, вольными, а по разнообразию занятий – пестрыми.

И вот в эти пестрые часы пятнадцатилетний парнишка, ученик второго класса Пермской духовной семинарии открыл запертую висячим замочком парту во втором среднем ряду (парты стояли в четыре ряда, которые назывались сообразно: входной – у двери, дальний – у окон, а средние различались по номерам, ближе к двери первый средний, ближе к окнам второй средний) и впервые стал читать «Пестрые рассказы».

Помню, как видите, все до мелочей, а вот не знаю, с какого именно рассказа начал читать. Очевидно, последующее наслоение вытеснило это из памяти. Одно ясно представляется – с первой же страницы фыркнул, захлебнулся смехом. Дальше стало невозможно читать в одиночку, – потребовался слушатель, и вскоре наша классная комната огласилась смехом десятка подростков. Потребовалось даже выставить в коридор вестового (по очереди, конечно), чтоб не «нарваться».

Вскоре эта книжечка у меня исчезла из запертой парты. Это был единственный случай за шесть лет семинарской учебы бесследного исчезновения книжки. Бывали случаи другого

порядка: книга «приходила на место сама», либо оказывалась на инспекторском и даже ректорском столе, после чего следовало «воздаяние коемуждо по заслугам его», – в виде карцера, понижения балла по поведению и прочее. Чеховская книжка оказалась исключением, – она исчезла без последствий, но и без возврата.

Удивительно, что и сам я, и мои товарищи на ближайших зимних каникулах «пересказывали своими словами» чеховские вещи: «Канитель», «Винт», «Хирургия», «Дочь Альбиона», «Налим» и другие, и это вызывало бурный смех. Теперь, слушая лучших мастеров дикции, никак не могу понять, в чем же там была сила, почему слушательская реакция была заметнее.

С той поры прошло – увы – пятьдесят лет! Не один раз перечитывал произведения А. П. Чехова и все-таки последующий Чехов никогда не заслонял в моем сознании Чехова начального периода, когда критики и литературоведы склонны были называть его только «смешным писателем». Больше того: многие произведения этого периода мне дают больше, чем вещи последующего периода. «Злоумышленник», например, мне кажется, более правдивым, чем «Мужики», которым я во многом не верю. Или взять хоть «Ведьму». Ведь это жуткая трагедия молодой красивой женщины, вынужденной жить на погосте с постылым рыжим дьячком. Сколько на эту тему у нас написано и в стихах и в прозе, и везде это трагедия либо мелодрама. А здесь ты даже смеешься. Смеешься над рыжим дьячком, который пытается прикрыть платком лицо спящего почтальона, чтобы на него не смотрела жена.

Смеешься и тогда, когда этот рыжий дьячок получает локтем в переносицу. Однако смех ни в какой мере не затеняет основную мысль. Ты тут всему веришь и навсегда запоминаешь, между тем, как трагедии зарываются, а мелодрамы простой переменной интонации превращаются в свою противоположность. Здесь никакой интонацией ничего не изменишь, так как основа глубоко национальна. Ведь наше русское поле тем и отличается от всех остальных, что на нем нет затейливых цветов, а только простые васильки да солнечный жолтык. Наши люди даже перед подвигом смерти не встанут на котурны и «могут отмочить одобрительную шутку». Не случайно у нас создалась пословица: «посильна беда со смехом, невмочь со слезами». Чехов это чувствовал, как никто больше, и у него даже тема о безвольной, запуганной интеллигенции подана с большой дозой смеха. Нам смешно даже над последним гробовым футляром страшного, отвратительного, но в то же время смешного Антропоса-Белякова. И, по-моему, сила этой вещи в частности и в том, что она подана в манере «Пестрых рассказов», а не «хмурых людей», как «Спать хочется» и другие произведения, которые критикой прошлого особо выделялись, а читателем и прошлого и настоящего чаще всего пропускаются. И вовсе не потому, что тема мрачна. «Дачники» не менее страшная вещь, но только подана в той национальной манере, которая формулируется: «Коли живешь, реветь рано, а умрешь, тогда поздно».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.